ОЛЬГА ИВАНОВА

# Золотая чаша

Москва · Издательство «Обложка» · 2023

# Табор

С невысокого холма по песчаной, залитой желтым светом дороге к березовому лесочку, к мирно журчащей речке потихоньку шагали, запряженные в крытые пестрыми коврами и попонами кибитки, разномастные цыганские лошадки. Негромкий нежный хор девичьих голосов сливался с пением полевых птах.

Старый цыган в рваной, потерявшей цвет рубахе, с большой серебряной серьгой в сморщенном черном ухе, погонявший переднего гнедого, поднял руку, крикнул, оглянувшись назад. Повозки свернули к реке.

Позвякивая монистами, выбрались из кибиток девушки, легко прыгая по камням босыми ногами, побежали к воде, но строгий окрик бабушки заставил их вернуться.

На зеленой лужайке задымился костер, рядом — гора хвороста. В полукружье повозок, входами друг к другу, стояли несколько рогожных

и полотняных палаток. Большой, покрытый ковром шатер в центре.

Женщины хлопотали над закопченным котлом, покрикивая на полуголых ребятишек, затеявших беготню между палатками.

Девушки столпились на берегу, за частыми кустами ивняка, скрываясь от глаз соплеменников, сбрасывали с себя юбки-индара́ки и, оставшись в одной, нижней, с шумом, с визгом бросались в чистые струи.

Накупавшись, принялись за стирку, бережно передавая друг другу серый кусок мыла и старательно раскладывая на теплых камнях выстиранную одежду.

Потом еще долго отмывали, отстирывали ребятишек, а самых маленьких купали у костра, в нагретой воде, выкопав в земле ямку и выстелив ее старой, наполовину стершейся клеенкой.

Солнце медленно ползло к горизонту. Надвигались сумерки.

У костра цыганки кормили детей, деревянными ложками зачерпывая из железных мисок густое варево. Мужчины, расположившись в стороне, курили, поджидая, когда освободится посуда.

Женщины и девушки ели последними.

Солнце село за реку, надвинулись синие сумерки. Легкий дневной ветерок усилился и будто бы остыл без солнышка.

Молодая пышноволосая красавица с тяжелым, подвязанным черным платком животом не спе-

ша направилась к берегу, вошла по колено в потемневшую воду, не заботясь о намокших юбках. Осторожно склонилась над потемневшими струями, зачерпывая ладонями, и вдруг насторожилась, услышав странный звук, будто звякнул металл. Выпрямилась, испуганно осматриваясь. Что-то большое и непонятное покачивалось на воде в нескольких шагах от нее. Ужас охватил цыганку. Однажды в детстве ей случилось видеть распухшего утопленника, и братья рассказывали, как неожиданно он всплыл прямо перед ними.

Женщина пронзительно закричала. От шатров к берегу бросились трое молодых парней и следом две длиннокосые девочки лет десяти с одинаковыми лицами. Беременная цыганка, держась одной рукой за живот, другой показывала на неизвестный предмет.

Это был большой мешок, в котором что-то тихонько позвякивало. Потянули и решили, что находка зацепилась за корень или острый камень на дне. Но через секунду из воды показался маленький худой человек, вцепившийся руками в веревку, которой был завязан мешок.

— Раклори́! Чужая девочка! — закричали глазастые близнецы. Однако старшие быстро распознали свою, племяшку беременной цыганки, девочку Лёльку. Ее моментально вытащили на берег, тормоша и расспрашивая, почему она оказалась в воде. Она не отвечала, только оглядывалась,

# Заговоренный огонь

Я просыпаюсь, едва начинает светать, но какое-то время мне не хочется открывать глаза. Не хочется выпускать из сонной головы прекрасное видение. Тот самый сон, где так хорошо, тепло, чисто… Где живут добрые красивые люди и старенькая бабушка, очень похожая на нашу шуваní *(знахарку)* бабушку Софью… Где я почему-то разговариваю по-русски, не путаясь и не забывая слов…

Спит наш табор, но вот-вот уже, с первыми лучами солнца, закричат проснувшиеся малыши, а потом встанут женщины, мужчины, начнут собираться в город, здесь станет шумно и пестро.

Я потихоньку выбираюсь из палатки, стараясь не толкнуть, не задеть сестру, которая сопит, раскинувшись на своей перинке поперек входа, и все-таки наступаю коленом ей на косу. Она морщится во сне, бормочет ругательство, но не просыпается.

Как обычно, у костра ждет меня старая бабушка Софья. Каждое утро, пока табор еще спит, она учит меня гаданию и колдовству, рассказывает про свою жизнь, расспрашивает про мои сны.

Костер еле теплится. На фоне чуть посветлевшего на востоке синевато-серого неба, будто вырезанные из черной ночной тьмы, неподвижные кроны огромных деревьев. Кое-где высохшие кривые ветви торчат, пробившись сквозь листву,

как горестно устремленные в небо сухие старческие руки.

В предутреннюю тишину мелодично вливается нежный звук перелива прозрачных речных струй. Робко пробует иголочный голосок первая пташка.

Бабушка указывает мне на покрытое мешковиной бревнышко рядом с собой. Когда я усаживаюсь, она приглаживает грубыми скрюченными пальцами мои разлохматившиеся волосы и хрипло говорит:

— Ну-ка, Лёлушка, разбуди огонь!

Я нагреваю над засыпающими угольками ладони, шепчу заговор, потом встаю и семь раз торопливо обхожу костер, взмахивая у черных головешек подолом. Оранжевые язычки выскакивают из потухших углей, сливаются в один, внезапно обрадованный, будто ему дали новой пищи, язык, трещины углей светятся жарким рубином, фонтанчиками рассыпаются искры, веселый треск негромких огневых выстрелов вонзается в звездную полутьму.

Чего проще — подкинуть в угли хвороста и подуть, склонившись к сонному дымку.

А как развести костер в дождь и слякоть? Как заставить его разгореться в ветреную сырую осень?

Нет, нужно научиться всему, что умеет Софья.

Давно ли было: стояли мы у небольшой деревеньки. Пошли с сестрами петь и гадать за кусок хлеба. В одну хату заглянули, в другую, в третью…

наперед знала — что, с кем, когда станется, сроду не ошибалась. А свою смерть не угадала! Полезла в гору цветки-багрянцы собирать, бесплодных раклúтке *(русских баб)* ими лечить, да и сорвалась. Камень под ногой покатился, она не удержалась… Знала бы, взялась заранее какую умную девочку в своем таборе учить. А так — умерла, и нет в их таборе сильной шувани… Нет, девка, нужно учиться этому. Я тебя научу, ты своих внуков научишь. Станешь учить?

Я поперхнулась смехом. Какие внуки? Мне самой всего двенадцать! Но бабушка не смеется:

— Ты и не знаешь пока, что жизнь с каждым годом быстрее катится! Как колесо под горку: сначала потихоньку-помаленьку, потом быстрее, быстрее, и вот уже летит, на кочках, на камнях подскакивает! Может далеко улететь, а может сковырнуться и упасть посреди молодой и веселой жизни… крутнется на земле лежа, будто еще встать пытается, да и замрет…

# Софья

Я подправляю костер, длинной палкой выкатываю из золы печеную картошку. Милица наблюдает за мной с некоторой неприязнью.

Что ж, она права! Я самая бездельная девочка в таборе. Только и смотрю, как бы увильнуть от работы. Только разве увильнешь, когда со всех сторон за тобой смотрят зоркие черные глаза!

Подходит, прихрамывая и горбясь, бабушка Софья, отстраняет меня клюкой и присаживается у огня. Милица наклоняется к ней:

— Чего тебе? Молока хочешь?

— Нет… Ничего не хочу. Погреюсь посижу.

Я вспоминаю все, что она по ночам рассказывает мне о своей жизни. Бабушка устремляет на огонь слезящиеся глаза. Когда-то они были черными и пронзительными. Ее взгляда боялись и деревенские бабы, и городские парни. А талия у нее была такой тонкой и гибкой, что влюбился в нее губернаторский сын, красавец Авдей Славинский, да так, что бросил отцовское имение и ушел с табором по той дальней дороге, которая привела ее к этому костру…

Мать у Софьи была красивой и строгой. Звали ее Лауной. Она родилась в семье православных городских цыган и с шести лет пела в церковном хоре. В тринадцать ее выдали за полевого цыгана, веселого красавца Кондрата Бурду. С его табором

— Господин губернатор! Господин губернатор! Извольте выслушать просьбу нижайшую!

Дрожь пронзила и приковала к земле как копьем! Софья не оглядывалась, но, как обычно, видела не глядя: мать Галины, бормоча что-то, цепляется за рукав губернатора, он смотрит на нее неприязненно, его жена брезгливо выпячивает нижнюю губу.

Вокруг разговаривали, смеялись и печалились прихожане, но голоса Галины и ее матери для Софьи словно звучали отдельно от всех:

— Господин губернатор! Избавьте от цыган, от воров, от колдовок, отец родной!

— Чего-чего? — Губернатор насторожился, его жена недоуменно пожала плечами в пышных буфах голубого шелка.

— Цыгане по городу бродят! — визгливо, перебивая друг друга, кричали ему в лицо женщины. — На реке, на излуке табор стоит!

— Вот оно что-о… — Губернатор оглянулся на жену. — Как же мне не доложили?

Супруга снова пожала плечами.

Боль и слезы ключом закипели в душе Софьюшки, грозный колокол забился в висках: бум-м! бум-м! бум-м!

Она бросилась к Соломонии, выходившей вместе с супругом из ворот храма, срывающимся голосом стала просить, готовая упасть на колени:

— Отпусти, матушка, к цыганам! Вдруг там родня моя?

— Это зачем? — строго спросила Соломония. — Убежать хочешь?

Гавриил вступился:

— Пусть погуляет! Она цыганка, ей воля дороже хлеба. — Обернулся к Софье: — Ты не убежишь, дочка? Домой вернешься?

— Вернусь, батюшка. Неужто вас и братьев брошу?

На самой излучине, где река поворачивает на восход, окружая шатры и кибитки полукругом, среди ивовых кустов, кипела цыганская жизнь. У Софьи колотилось сердце. Она издалека, не узнав еще никого, поняла, что это ее табор.

Ее окружили девушки, стали спрашивать, чья и откуда.

— Ваша я! — сквозь хлынувшие слезы торопливо говорила Софья. — Кондрата Бурды дочка!

Весь табор, от мала до велика, столпился вокруг нее, горячо обсуждая неслыханную новость. Ее усадили на свернутую попону у костра, шумно перебивая друг друга, расспрашивали о том, что случилось с Лауной, где братишка, как нашла она новую семью, как живут теперь. Софья сбивчиво, сквозь радостные и горестные слезы, рассказывала о своей жизни. Ее угощали чем могли, рассказывали, кто вышел замуж, кто женился, а кто уже умер, показывали народившихся за эти несколько лет племянников, двоюродных сестренок и братишек.

# Детский дом

Как ни любила я табор свой, сестер и братьев, а дитя всех дороже. Да и разве плохо: ни костра разводить не надо, ни воду с реки таскать, ни за конями ходить, ни гадать, ни просить… ни холода тебе, ни голода, ни тоски-скуки зимней… Чистота такая — глаз слепит! Ребятишки в чистеньких рубашонках да в платьишках, все разные, и белые, и черные, и поменьше, и постарше. А каждый любит, чтобы приласкали да пожалели.

Комнатушку мне там отделили в сторожке. За стенкой сторож, старичок дядя Кузя, а тут я. Коечка, столик, табуретка. А Петруша со всеми ребятишками в большой спальне.

Днем я мыла, убирала, малышей купала, поварихе помогала на кухне, а вечером детки вокруг меня усядутся, я им книжку Пушкина читаю, свои сказки рассказываю, а то песенки пою… Они перенимают по-цыгански, забава! А как спать улягутся, я к себе. Придет дядя Кузя, чай травяной с ним пьем, он про жизнь свою мне рассказывает, меня расспрашивает… Так дотемна проговорим да разойдемся.

Я все думала: вот окрепнет мой мальчонок, уйдем с ним табор догонять. Но держала меня чистота да сытость. К зиме жалованье мне положили — плохо ли! А главное — сынок уходить не хотел. Только заговорю: в дорогу, мол, пора, он в слезы.

Жалела его… Он там двоих ребятишек полюбил, Митю и Русю-татарчонка, крепко подружился. Митя беленький, худенький, но такой шебутной! Глаз да глаз за ним! А Руся — тот чернявый, серьезный, характером не шибко бойкий, а голова светлая — с первого раза стихи запоминал.

Собака косматенькая на дворе жила, Белкой звали. Хвост колечком, голос звонкий! И вот какая: всех знала, и детей, и старших. Всех привечала. А как чужой какой идет — шерсть дыбом, зубы в оскал! А бегала везде только с Петрушей и его дружками, Митей и Русей. Когда ни глянешь — всё они вместе, всё втроем, и собака с ними! Они потом и на фронт втроем ушли… А с фронта уж один вернулся…

Бабушка замолкает, сжимает губы, прикрывает глаза. Слеза скатывается по морщинке на щеке. Я тоже плачу, утыкаясь в ее плечо. Плачу по папиной горькой фронтовой судьбе и по его погибшим товарищам.

Утром перед уроком я подхожу к Клавдии Николаевне, чтобы попытаться пересказать папино объяснение. Но быстро сбиваюсь и повторяю бабушкины слова про черную и белую душу. Она слушает меня серьезно, хотя уголки губ стремятся к улыбке, и едва заметно кивает. Звонок прерывает мою речь, а учительница успевает сказать:

— Я поняла тебя, Оля. Ты права.

По дороге домой я, как обычно, рассказываю брату вчерашнее бабушкино повествование. Он

Папа поддерживает разговор. Мама смотрит на него, приподняв одну бровь, и растерянно гладит пальцем край чайной чашки.

Бабушка едва заметно кивает головой.

— Послушай, милая, — говорит она, обращаясь ко мне, — что здесь особенного? Если бываешь среди чужих — нужно так себя вести, чтобы никто о твоей нации плохого не подумал! Это дело такое: ты сделаешь плохо, и обо всех сородичах плохо думать станут. Много есть людей, которые цыган не любят. И много таких, которые, кроме своей нации, любую другую ненавидят. Обидел тебя человек, ты подумаешь: плохой человек. А если он другой нации — ну, хоть биболдо или караха́й *(мусульманин, татарин)*, подумаешь: плохой, потому что биболдо. Потому что татарин. И живут они не так, и одеваются не так, и поют не по-нашему. И станешь всю эту нацию не любить. А не надо так думать: пусть живут, как им Бог велел, пусть одеваются, как им нравится, пусть свои песни поют! Плохие везде есть — хоть цыгане, хоть гадже. Но хороших везде больше. Ты это знай и не думай, что какая-то нация плохая. А девочка та… Ничего. Не думай о ней. Мэк одой!

# Перстень с красным камнем

Дождь за окнами назойлив и бесконечен… Мы с Лешкой делаем уроки у бабушки на кухне. Здесь тепло и уютно от пылающих дров в плите, от ванильного запаха бабушкиной стряпни. Она старается нам не мешать. Чтобы не греметь посудой, берется за штопку старых, никому не нужных кофточек и чулок.

А когда мы облегченно потягиваемся и складываем учебники, поит нас чаем с сахарными булочками.

Лешка торопится на тренировку. Я ему немножко завидую. Мне тоже хочется поноситься по спортзалу или повозиться с авиамоделями. Но я ни на что не променяю бабушкины рассказы о таборной жизни, наполненной тревогами и заботами, о бродяжьей цыганской доле, о крестах у дорог на цыганских могилах…

Веселого в ее рассказах мало. Но под них хорошо засыпать, разнеживаясь и размякая от того, что ласковая бабушкина рука гладит мою голову, перебирает волосы на висках, успокаивает, убаюкивает…

Руки ее, сухие, сморщенные, умеют быть удивительно нежными. Я теребню ее перстни, поглаживаю камни кончиками пальцев, любуюсь.

# Бусинка

В воскресенье мы с бабушкой рано поутру идем на рынок. Мама с папой и Лешка еще спят. Мы договорились о походе заранее, обсудили, что нужно купить. Едва встало солнышко, потихоньку оделись, взяли большие хозяйственные сумки и на цыпочках вышли из дому. Дверь на ключ закрывать не стали, чтобы не греметь и не щелкать замком.

Солнце светит в глаза, впереди теплый весенний денек. Я не иду — скачу галопом. Бабушка улыбается и приговаривает:

— Кха́моро миро́! *(Солнышко мое!)* Чириклы́ мири́! *(Птичка моя!)*

Я отвечаю радостно:

— Бабулечка, ило́ миро́! *(Душа моя!)*

Мы едва ли не первые покупатели на базаре. Еще не все торговки разложили свои корзинки и банки по прилавкам. Все свежее, а первым покупателям отличная скидка. Тем более моей бабушке, которую почти все здесь знают.

Нас подзывает толстая тетка в трех торчащих один из-под другого платках. Прежде чем мы успеваем посмотреть ее товар, она, сдвигая платки на ухо, показывает бабушке распухшую щеку:

— Хорошо, что пришла, Ольга! Не возьмешься полечить?

Бабушка бросает небрежный взгляд, кивает:

— Приходи вечером, полечим. А как твой внук-то?